

1898. 22 сентбря. № 3844.

C. 2.

Отшель. Младенца с мамой прощание. "Мечты и
мечты". Галия Успенский с прощанием и с группой
мать. "Мечты и мечты". Аи "Мечты". Младенца

но, российская безграмотность во своих символических действиях не политическому символизму дома даже до брака позволивших жить? Идет, однако, читатель, не спешить со своим приговором и за мучительным символизмом г. Брунгина не упустить того «важного и трагически-серьезного, что мимолетно в очерках автора. А такое серьезное в них как будто мимолетно. «Пережитые мученья твоей, государя мой, — восклицает старик, — страшнее это было. Охватить человека, обвиваются вокруг сердца и — калуга!». И точно, «черной волной идут тьма и несут новизество, пошлость, разврат, отупление, повоюют человека в жизни животной. Безконечная, непрерывная похоть... И эта волна захватила слабодушного поручика и погрузила в ибд-ра бездальнего безуми недоросля из дворян Калугкова. «Починя тьма» прежде всего обезличивает жизни; она, впадая в людские сердца, делает их безброшными, погружает их в гнилые и праздные фантазии праздного и сниски-донольного существования...

гитиса, а заодно-то и променять новоросье на выжидание. И таких симпатомов начинающихся возрождения провинция не мало. Много лишнего материализма закончилось там в последние годы; из ближайших годов накопится еще больше. Из каких форматов выразится это возрождение провинции, предсказать пока трудно. Ощущается, как известное мифическое, что одной и важнейшей формой должно признавать стремление интеллигенции к земледельческому труду. Автор "Чухоты" в своем новом рассказе "Братя Жеманки" ("Русская Мысль", август), высказывается против такого мифического. Принято говорить, читаем мы в этом рассказе,—что человеку нужно только три аршина земли. Но ведь три аршина нужны трупу, а не человеку. И говорят также теперь, что если наша интеллигенция имеет тяготение к земле и стремится въ усадьбу, то это хорошо. Но ведь эти усадьбы тоже три аршина земли. Уходить из города, отъ борьбы, отъ житейского шума, уходить и прятаться у себя въ усадьбу—это не жизнь, это огузокъ, лѣнь, это своего рода монашество, но монашество безъ подвига. Человеку нужно не три аршина земли, не усадьба, а весь земной шаръ, вся природа, гдѣ на просторахъ онъ могъ бы проявить все свойства и особенности своего свободного духа. Въ такомъ духѣ и ведется рассказъ объ лицѣ ветеринарнаго врача Павла Ивановича въ кругу друзей. Въ усадьбѣ, свѣяннаго на землѣ! Алехина. Герой рассказа—братъ Павла Ивановича, Николай, который уже съ двѣнадцати лѣтъ сидѣлъ въ казенной палатѣ. Годы проходили, а онъ все сидѣлъ на одномъ мѣстѣ, писалъ все тѣ-же бумаги и думалъ все объ одномъ и томъ-же: какъ бы въ деревню. И эта тоска малопомалу вылилась у него въ опредѣленное желаніе, въ мечту купить себѣ маленькую усадьбу гдѣ-нибудь на берегу рѣки или озера. Мечта эта исполнилась. Николай сталъ помѣщикомъ; и Павелъ Ивановичъ рассказываетъ о своей побѣдѣ въ мечтѣ.

Всю соль расказа составить из следующего тирада Пана Иванюнич, которую мы приводим в цитатах, так как она, очевидно, отбрасывает воззрения самого Чехова и, кроме того, своеобразно освещает внутреннюю сущность размышлений автора пьесы. — «Я видел счастливого человека. — начал Пана Иванюнич, — забытая мечта которого осуществилась, который достиг цели в жизни, получил то, что хо-

Киевское слово.

1898. 22 сентября. № 3844.

С. 2.

тѣмъ, который былъ доволенъ своею судьбой, самими собой. Въ моментъ мысленнаго и челоуическаго счастья всегда почему-то прѣискивалось что-то грустное, те-перъ же, при видѣ счастливаго челоука, мною овладало тяжелое чувство, близкое къ отчаянію. Особенно тяжело было ночью. Мнѣ поставилъ постель въ комнату рядомъ съ спальной брата, и мнѣ было слышно, какъ онъ заснулъ и какъ вставалъ и подходилъ къ таракану съ крыжовникомъ и бралъ по ягодкѣ. И соображалъ: какъ въ сущности много довольныхъ, счастливыхъ людей! Какимъ это подавляющимъ сила! Вы нагнитесь на эту жизнь: нагость и праздность, сильныхъ, невѣжество и скотоподобіе, слабыхъ, кругомъ бѣдность невозможная, тѣснота, вырожденіе, нищета, ли-цензія, вранье... Между тѣмъ, во всѣхъ домахъ и на улицахъ тишина, спокойствіе; изъ пятидесяти тысячъ живущихъ въ городѣ ни одного, который-бы вскрикнулъ, громко возмущенъ. Мы видимъ тѣхъ, которые ходятъ на рынокъ за провизіей, днемъ ѣдятъ, ночью спятъ, которые говорятъ чепуху, женятся, стараются, благодушно тащатъ на кладбище своихъ покойниковъ; но мы не видимъ и не слышимъ тѣхъ, которые страдаютъ, и то, что страшно въ жизни, происходитъ гдѣ-то за кулисами. Все тихо, спокойно, и протестуетъ одна только нѣмая статистика: столько-то съума сошло, столько-то вѣдѣръ выпито, столько-то дѣтей погибло отъ недоѣданія... И такой порядокъ, очевидно, нуженъ; очевидно, счастливый чувствуетъ себя хорошо только потому, что несчастные несутъ свое бремя молча, и быть этого молчанія счастіе было-бы невозможно. Это общій гипнозъ. Надо, чтобы за дверью каждаго довольнаго, счастливаго челоука стоялъ кто-нибудь съ молоткомъ и постоянно напоминалъ-бы стукомъ, что есть несчастные, что, какъ-бы онъ ни былъ счастливъ, жизнь рано или поздно покажетъ ему свои ногти, страшенъ бѣда—болѣзнь, бѣдность, потеря, и его никто не увидитъ и не услышитъ, какъ теперь онъ не видитъ и не слышитъ другихъ. Но челоука съ молоткомъ нѣтъ, счастливый живетъ собой, и мелкія житейскія заботы возмущаютъ его слегка, какъ вѣтеръ есеню—и все обстоитъ благополучно... Въ эту ночь мнѣ стало понятно, какъ я тоже былъ доволенъ и счастливъ,—продолжалъ Иванъ Ивановичъ, вставая.—Я тоже, за обѣдомъ и на отдыхѣ, лежалъ, какъ жить, какъ вѣковать, какъ утѣшать народъ. Я тоже говорилъ, что лучше себя, что образованіе

необходимо, но для простыхъ людей оно было одною гранью. Свобода есть благо,—говорилъ я,—безъ нея нельзя, какъ быть воздуха, но надо подождать. Не во имя чего ждать?—спросилъ Иванъ Ивановичъ, сердито глядя на Бурмена.—Во имя чего ждать, я васъ спрашиваю? Во имя какихъ соображеній? Мнѣ говорить, что не все сразу, великая идея осуществляется въ жизни постепенно, въ свое время... Но кто это говоритъ? Гдѣ доказательства, что это справедливо? Вы ссылаетесь на естественный порядокъ вещей, на законность явленій, но есть-ли порядокъ и законность въ томъ, что я, живой, мыслящій челоукъ, стою надо рвомъ и жду, когда онъ заростетъ самъ, или затинетъ его иломъ. Въ то время, какъ, быть можетъ, я могъ-бы перескочить черезъ него или построить черезъ него мостъ? И опять-таки, во имя чего ждать? Идти, когда вѣтъ силъ жить, а между тѣмъ жить нужно и хочется жить!.. И уйхалъ тогда отъ брата рано утромъ, и съ тѣхъ поръ для меня стало невыносимо бывать въ городѣ. Меня угнетаютъ тишина и спокойствіе, я боюсь, смотрѣть на окна, такъ какъ для меня теперь нѣтъ болѣе тяжелого зрѣлища, какъ счастливое семейство, сидящее вокругъ стола и пьющее чай. И уже старъ и немогуся для борьбы, я неспособенъ даже ненавидѣть. И только скорбѣ душевно, раздражаюсь, досажу, по ночамъ у меня горитъ голова отъ наплыва мыслей, и я не могу спать... Ахъ, если-бы я былъ молодъ!

Иванъ Ивановичъ прошелся въ волненіи изъ угла въ уголъ и повторилъ:

—Если-бы я былъ молодъ!

Онъ вдругъ подошелъ къ Алехину и сталъ пожимать ему то одну руку, то другую.

—Павелъ Константиновичъ,—проговорилъ онъ умоляющимъ голосомъ,—не успокаивайтесь, не давайте усыпить себя, дѣлайте добро! Пока молоды, сильны, бодры, не уставайте дѣлать добро! Счастья нѣтъ и не должно его быть, а есть жизнь, и если она имѣетъ смыслъ и цѣль, то смыслъ этотъ и цѣль вовсе не въ каменитъ счастіи, а въ чемъ-то болѣе разумномъ и великомъ. Есть жизнь, есть нравственный законъ, высшій для насъ законъ... Дѣлайте добро!

И все это Иванъ Ивановичъ проговорилъ съ жалкой, просившею улыбкой, какъ-будто просилъ лично для себя...

Въ обществѣ, рассказъ Чехова читается съ истиннымъ художественнымъ и нравственнымъ удовольствіемъ. На ряду съ нѣтъ, но нѣтъ-то содержанію,